

## Ч. Айтматов

### Заметки о себе

Писать собственную биографию для чтения других, для публикации — дело довольно трудное. Кто его знает, как лучше: подробнее описать свою жизнь или покороче? Напишешь много, скажут: вот — развез на целую версту, напишешь мало — зачем было писать, если ничего тут нет интересного. Вообще — лучше не писать...

Но коли уж так пришлось, попробую и я, — мне уже за сорок, что-нибудь да было, наверно, в моей жизни.

У нас в аиле считалось не переменным долгом знать своих предков до седьмого колена. Старики на этот счет строги. Обычно они испытывали мальчишек: «Ну-ка, батыр, скажи, из какого ты рода, кто отец твоего отца? А его отец? А его? А какой был человек, чем занимался, что говорят люди о нем?» И если окажется, что мальчик не знает свою родословную, то нарекания дойдут до ушей его родителей. Что, мол, это за отец без роду, без племени? Куда он смотрит, как может расти человек, не зная своих предков, и т. п. Здесь есть свой смысл преемственности поколений и взаимной моральной ответственности в роду. Быть может, кто-нибудь обратил внимание: в повести «Белый пароход» я попытался сказать об этом устами мальчика — когда он разговаривал с приезжим шофером. Я бы мог тоже начать свое жизнеописание с этого, как теперь принято называть, «феодалного пережитка».

Я мог бы сказать, что я из рода шекер. Шекер — наш родоначальник, мой отец — Торекул, его отец — Айтмат, а его отец — Кимбилди, а его отец — Кончуджок. Но довольно. Дальше было бы простое перечисление имен, о которых я равным счетом ничего не знаю. И нет уже людей, которые могли бы что-либо рассказать мне о них. Мой прапрадед Кончуджок дошел до меня не по имени, а по прозвищу. Он всю жизнь ходил в чарыках (обувь из сыромятной кожи), поэтому и прозвали его Кончуджок — безголенищный, то есть без сапог. Стало быть, мы — из «безголенищных», хвалиться тут особенно нечем, но что было, то было...

Все это и то, что я расскажу затем, сообщено мне, кстати, не отцом, он не успел этого сделать, и не до того ему было.

Этим я обязан прежде всего своей бабушке по отцу Айимкан Сатанкызы и ее дочери, моей тетке, — Карагыз Айтматовой. Поразительно, как могут быть близки, похожи — и внешне, и по характеру, и по душевному складу — мать и дочь. Они были для меня неразделимы — словно бы одна и та же бабушка в двух лицах — в старом и молодом возрасте. Благодарю судьбу, что я видел и знал этих замечательных женщин, мудрых, красивых, — они действительно были красивыми... Они-то и оказались моими наставницами по части старины и семейной хроники.

Деда — Айтмата — я не застал. Он умер где-то в восемнадцатом — двадцатом годах, а я родился в 1928 году (12 декабря).

На окраине нашего аила Шекер (это в Таласской долине, Кировский район) и поныне лежит в пойме реки Куркуреу старый, осевший в землю мельничный камень. С каждым годом он все больше разрушается и все глубже утопает в землю. Здесь была мельница деда.

Говорят, он был человеком мастеровым: умел шить, первым привез из города швейную машину, отсюда получил прозвище «машинечи Айтмат», то есть портной Айтмат; дед умел рубить седла, умел лудить и паять, хорошо играл на комузе и даже читал и писал арабским алфавитом. Но, при всей своей предприимчивости, всю жизнь

бедствовал, не вылезал из долгов и нужды, временами оставался «джатаком» — некуюющим, ибо не было для этого скота.

И вот дед делал отчаянную попытку вырваться из бедности. Решил строить водяную мельницу в надежде, что доходы от нее помогут разбогатеть. Все, что было у него и его брата — Биримкула, все состояние двух хозяйств вложили в мельницу. Все лето того года всей семьей копали они отводный арык от Куркуреу для подачк воды на мельницу (теперь от него остался едва заметный след), всей семьей поднимали стену и крышу. Прошел год, наконец мельница заработала. Но невезучему Айтмату опять не повезло. Случился пожар, и мельница, за исключением каменного жернова, сгорела дотла. Окончательно разоренный, дед уходит вместе с двенадцатилетним сыном Торекулом, моим отцом, на строительство железнодорожного тоннеля близ станции Маймак. Отсюда с помощью тамошней русской администрации мой отец попадает в русско-туземную школу города Аулие-Ата, ныне — Джамбул.

Пишу об этом не для праздного разговора. Ничего на свете не бывает без причины. Не сгори та несчастная мельница, дед не пошел бы на железную дорогу, а отец вряд ли начал учиться в городе. То, что мой отец в первые годы революции оказался грамотным человеком (позже он еще дважды учился в Москве), то, что он стал одним из первых коммунистов-киргизов, был на руководящих постах, живо интересовался политикой и литературой, к тому же моя мать — Нагима Хамзеевна Айтматова — тоже была грамотной, вполне современной женщиной, позволило им сразу приобщить меня к русской культуре, русскому языку и, стало быть, к русской литературе, — разумеется, детской литературе.

С другой стороны, бабушка, постоянно увозившая меня, внука своего, к себе в горы, на летние кочевки, женщина исключительно обаятельная и умная, всеми уважаемая в аиле, оказалась для меня кладом сказок, старинных песен, былей и небылиц. Я видел народные кочевья такими, какими они когда-то были. Кочевье — не просто передвижение со стадами с места на место, а большое хозяйственно-ритуальное шествие. Своеобразная выставка лучшей сбруи, лучших украшений, лучших верховых коней, лучшей укладки на верблюдов вьюков и ковров-попон, которыми покрывались поклажи. Показ лучших девушек и певиц-импровизаторов, исполнявших траурные (если покидали место, где скончался близкий человек) и дорожные песни. Я застал эти яркие зрелища на самом их исходе, потом они исчезли с переходом на оседлость.

Пожалуй, сама того не подозревая, бабушка привила мне любовь к родному языку. Родной язык! Сколько об этом сказано! А чудо родной речи необъяснимо. Только родное слово, познанное и постигнутое в детстве, может напоить душу поэзией, рожденной опытом народа, пробудить в человеке первые строки национальной гордости, доставить эстетическое наслаждение многомерностью и многозначностью языка предков. Детство — не только славная пора, детство — ядро будущей человеческой личности. Именно в детстве закладывается подлинное значение родной речи, именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей природе, к определенной культуре.

Должен сказать, по крайней мере исходя из собственного опыта, что в детстве человек может органически глубоко усвоить два параллельно пришедших к нему языка, а может быть, и больше, если эти языки были равнодействующими с первых лет. Для меня русский язык в неменьшей степени родной, чем киргизский, родной с детства, родной на всю жизнь.

Мне было пять лет, когда я впервые оказался в роли переводчика, а кусок вареного мяса был моим первым «гонораром». Это случилось на летовке в горах, где я, как обычно, был с бабушкой.

Колхозы в те годы только поднимались, только начинали устраиваться. В то лето на нашем джайлоо случилась беда. Племенной жеребец, купленный колхозом незадолго до этого, внезапно околел. Среди бела дня упал со вздутым животом и испустил дух.

Табунщики переполошились, жеребец был ценный, донской породы, привезенный из далекой России. Послали гонца в колхоз, оттуда гонца в район. И через день к нам в горы приехал русский человек. Высокий, рыжебородый, с голубыми глазами, в черной кожаной куртке, с полевой сумкой на боку. Я его очень хорошо запомнил. Он не знал ни слова по-киргизски, а наши — по-русски. Надо было провести осмотр, выяснить обстоятельства гибели животного, составить документ. Табунщики, недолго думая, решили, что переводчиком буду я. А я в это время стоял в толпе ребятишек, мы глазели на приезжего.

— Пошли, — сказал мне один из табунщиков и взял за руку. — Этот человек не знает языка, ты переведи, что он говорит, а то, что мы скажем, скажешь ему.

Я застеснялся, испугался, вырвался и убежал к бабушке в юрту. За мной вся гурьба друзей, снедаемая любопытством. Через некоторое время снова приходит тот человек, жалуется на меня. Бабушка всегда была ласкова, а в этот раз строго нахмурилась.

— Ты почему не хочешь разговаривать с приезжим, тебя ведь просят большие люди, разве ты не знаешь русского языка?

Я молчал. За юртой притаились ребята: что будет?

— Ты что, стыдишься говорить по-русски или ты стыдишься своего языка? Все языки богом даны, нечего тебе, пошли. — Она взяла меня за руку и повела. Ребята снова за нами.

В юрте, где в честь гостя уже варилась свежая баранина, было полно народу. Пили кумыс. Приезжий ветеринар сидел вместе с аксакалами. Он поманил меня, улыбаясь.

— Заходи, мальчик, иди сюда. Как тебя звать? Я тихо пробормотал. Он погладил меня:

— Спроси у них, почему этот жеребец погиб, — и достал бумагу для записи.

Все стихли в ожидании, а я замкнулся и никак не могу выдать слова. Бабушка сидела сконфуженная. Тогда меня взял к себе на колени старик, наш родственник. Он прижал меня к себе и сказал на ухо доверительно и очень серьезно:

— Этот человек знает твоего отца. Что же он скажет ему о нас, скажет, каким плохим растет у киргизов его сын! — И потом громко объявил: — Сейчас он будет говорить. Скажи нашему гостю, что это место называется Уу-Саз...

— Дядя, — робко начал я, — это место называется Уу-Саз, ядовитый луг, — и потом осмелел, видя, как радовались бабушка и этот приезжий человек, и все, кто был в юрте. И на всю жизнь запомнил тот синхронный перевод разговора, слово в слово на обоих языках. Жеребец, оказывается, отравился ядовитой травой. На вопрос, почему не едят эту траву другие лошади, наши табунщики объяснили, что местные лошади не трогают эту траву, они знают, что она несъедобная. Так я все и перевел.

Приезжий похвалил меня, аксакалы дали целый кусок вареного мяса, горячего, душистого, я выскочил из юрты с торжествующим видом. Ребята вмиг окружили.

— Ух, как здорово! — восхищались они. — Ты по-русски шпаришь, как вода в реке, без остановки! — На самом деле говорил я запинаясь, но ребятам угодно было представить это так, как им хотелось. Мы тут же съели мясо и побежали играть.

Стоит ли в литературной биографии упоминать о таких вещах? По-моему стоит. Надо начинать с того, что впервые в жизни запомнил человек, когда, как это было. Некоторые помнят себя с трех лет, другие едва припоминают свой десятилетний возраст. Я убежден, что все это много значит.

Так вот, был такой случай в моем детстве. Бабушка была очень довольна мной и долго потом рассказывала знакомым об этом, переполнявшем ее сердце гордостью, случае.

Она украсила мое детство сказками, песнями, встречами со сказителями и акынами, она всюду непременно брала меня с собой: и в гости, и на «жеентеки» (праздник новорожденного), и на похороны, и на свадьбы. Она часто рассказывала мне свои сны.

Сны эти были настолько интересны, что стоило ей немного вздремнуть, как я тут же будил ее и требовал рассказать, что она видела во сне. Маленькие, короткие сны меня не удовлетворяли. И тогда она уходила к соседям взять «взаимы» чей-нибудь сон. Позже я понял: она просто придумывала их для меня.

Бабушка вскоре умерла. Теперь я безвыездно жил дома, в городе. Потом пошел в школу. А через два года снова попал в свой родной аил. В этот раз надолго и при тяжелых обстоятельствах.

В 1937 году мой отец, партийный работник, слушатель Института красной профессуры в Москве, был репрессирован. Наша семья переехала в аил. Вот тогда и началась для меня подлинная школа жизни, со всеми ее сложностями.

В то тяжелое время нас приютила сестра отца — Карагыз-апа. Как хорошо, что была она у нас! Она заменила мне бабушку. Подобно своей матери, она — мастерица, сказочница, знавшая старинные песни, — пользовалась в аиле таким же уважением и почетом. Моя мать приехала в аил тяжело больная, болела она после этого долгие и долгие годы, а нас, детей, было четверо, я — самый старший.

Положение было очень тяжелое, но Карагыз-апа открыла нам глаза на то, что какие бы бедствия на человека ни обрушились, он не пропадет, находясь среди своего народа. Не только наши одноплеменники-шекеры (тогда этот «феодалный пережиток» оказал нам неоценимую услугу), но и соседи, и вовсе незнакомые раньше люди не оставили нас в беде, не отвернулись от нас. Они делились с нами всем, чем могли, — хлебом, топливом, картошкой и даже теплой одеждой.

Однажды, когда мы с братом Ильгизом — теперь он ученый, директор Института физики и механики горного дела АН Киргизской ССР — собирали в поле хворост для топлива, к нам завернул с дороги всадник, на хорошем коне, хорошо одетый.

— Чьи сыновья? – спросил он.

Наша Карагыз-апа постоянно учила, что в таких случаях, не опуская головы, а глядя людям в лицо, надо называть имя своего отца. Мы с братом очень переживали все, что писали тогда о нашем отце, а она, Карагыз-апа, не стыдилась нашего позора. Каким-то образом эта безграмотная женщина понимала, что все это ложь, что не может быть такого. Но объяснить свое убеждение она не могла. Я уже читал тогда книги о разведчиках-чекистах и втайне мечтал, чтобы меня послали поймать какого-нибудь шпиона и чтобы я его поймал и погиб, чтобы доказать таким образом невиновность моего отца перед Советской властью.

Так вот, человек этот, завернув с дороги, спросил, чьи мы. И хотя это было мучительно, не опуская глаз, я назвал нашу фамилию.

— А что у тебя за книга? – поинтересовался он.

То был школьный учебник, как сейчас помню, учебник географии, который я носил за поясом. Он посмотрел на книгу и сказал:

— В школе хотите учиться?

Еще бы! Кусая губы, чтобы не расплакаться, мы кивали головами.

— Хорошо, будете учиться! – И с тем уехал. А через неделю мы уже ходили в школу. То был, оказывается, один из учителей, Тыналиев Усубалы. Я попал в класс к учительнице Инкамал Джолоевой, очень сочувственно отнесшейся ко мне в те дни.

Я рано начал работать: с десяти лет познал труд земледельца.

Через год мы переехали в райцентр — русское село Кировское. Мать устроилась там счетоводом. Снова пошел в русскую школу.

Жизнь стала немного налаживаться, а тут — война.

В 1942 году пришлось бросить школу, матери не по плечу было в военное время учить нас всех.

И снова я у себя в Шекере, обремененном и разоренном тяготами войны. Меня назначили секретарем сельсовета, как наиболее грамотного из подростков — никого другого для этой работы не нашли. Мне было четырнадцать лет.

Но, как говорится, нет худа без добра.

Если в детстве я познал жизнь с ее поэтической, светлой стороны, то теперь она предстала передо мной в своем суровом, обнаженном, горестном и героическом облики.

Я увидел свой народ в другом его состоянии — в момент наивысшей опасности для родины, в момент наивысшего напряжения духовных и физических сил. Я вынужден был, обязан был видеть это — я знал каждую семью на территории сельсовета, знал каждого члена семьи, знал наперечет немудреное хозяйство всех дворов. Я узнал жизнь с разных сторон, в разных ее проявлениях.

Затем я работал в годы войны налоговым агентом райфо. Собирал с населения налоги. Если бы я знал, как это трудно делать в военное время, голодное время! Для меня это было настолько мучительно, что через год, в августе 1944 года, я самовольно бросил эту работу, за что чуть не попал под суд. И пошел учетчиком тракторной бригады на уборку хлеба.

Продолжалась война, и жизнь открывала передо мной, юношей, все новые и новые страницы народного бытия. Все это много позже отразилось, — в той степени, насколько это мне удалось, — в повестях «Лицом клицу», «Материнском поле», отчасти в «Джамиле» и «Топольке».

В 1946 году, после восьмого класса, я поступил учиться в Джамбульский зооветтехникум. Всю производственную практику 1947–1948 годов провел у себя в аиле, и теперь мог как бы со стороны наблюдать послевоенные изменения в жизни родных мне людей.

После окончания техникума в том же году как отличник был принят в Киргизский сельскохозяйственный институт. Институт, кстати, тоже окончил с отличием.

Литературу люблю с детства, в школе охотно писал сочинения на свободную тему, а в институтские годы мне стало уже ясно, что художественная литература влечет меня все сильнее. В лучших образцах литературы того времени я искал ответы на волнующие меня вопросы. Мне очень хотелось, чтобы о войне, о подвиге народа в годы войны были написаны сильные, яркие произведения. В киргизской литературе тогда еще тема войны глубоко не затрагивалась. Хотелось, чтобы и киргизские читатели имели возможность читать лучшие книги о войне. Движимый этим чувством, я принялся переводить «Сына полка» и «Белую березу» на свой страх и риск, не имея представления о том, что такое художественный перевод и как издаются книги. Потом, когда принес в издательство свои переводы, мне сказали, что книги эти давно переведены и скоро выйдут из печати...

Тогда было очень обидно, но именно это и явилось началом моей литературной работы. Будучи студентом, писал в газетах небольшие заметки, статьи, очерки.

После института работал зоотехником. В эти годы я уже писал рассказы. В 1956 году приехал учиться в Москву на Высшие литературные курсы. Два года занятий дали мне, бывшему зоотехнику, чрезвычайно много. Не только в смысле гуманитарной и теоретической подготовки, но и самой практической работы — наши семинары, обсуждения на Высших курсах были хорошей творческой школой. И сам я старался приобщиться ко всему лучшему в культурной жизни Москвы — и в литературе, и в театре. После окончания курсов редактировал журнал «Литературный Киргизстан», потом пять лет работал собственным корреспондентом «Правды» в Киргизии — это тоже позволило мне расширить круг наблюдений, лучше узнать жизнь.

Писатель, конечно, должен от природы обладать способностью художественно мыслить, но формирование его таланта, его личности связано с определенной общественной средой, с духовным опытом, культурными традициями данной среды, с ее мировоззрением и политическим устройством.

<...> Надо ли говорить, что присуждение мне в 1963 году Ленинской премии за книгу «Повести гор и степей» было радостным, огромным событием в моей жизни. Я благодарен народу за эту высшую честь. Никто не становится писателем сам по себе: опыт предшественников входит в творческий мир художника задолго до того, как он

осознает в себе какие-то литературные наклонности. Правда, далеко не всем нам дано совершить открытия на трудном пути искусства. Это уже зависит от таланта, от широты видения жизни. Зачастую мы топчемся на месте, что уже достигнуто предшественниками, зачастую идем вспять в смысле мастерства, глубины мысли и силы образов. Таково, по-видимому, развитие литературного процесса. Сложное, долгое, неравномерное, подчас трудно объяснимое...

О судьбах литературы, о собственном творческом пути приходится думать часто и по разным поводам. Поскольку я говорю о себе, я хотел бы высказать здесь мысли о «Белом пароходе», вызвавшем разные споры среди читателей. Споры — это в порядке вещей. Споры в литературе должны быть. Но самое большое, что меня насторожило в этом случае, — опасность, как ни парадоксально, очень доброжелательной, по-своему очень честной критики. Иные читатели, которым, скажем, полюбились «Джамиля», «Первый учитель», «Материнское поле» и другие вещи, хотят, исходя из своих представлений об искусстве, чтобы я и впредь писал только в этом духе. Я не думаю заниматься самоотречением, я не отрицаю определенного значения того, что было сделано до «Прощай, Гюльсары!», «Белого парохода», но и не собираюсь останавливаться на том, что есть уже пройденный этап. Литература должна самоотверженно нести свой крест — вторгаться в сложности жизни, с тем чтобы человек знал, любил, тревожился за все доброе, лучшее, достойное в себе, в людях, в обществе. В этом я вижу истинное назначение искусства. И мне кажется — это мое убеждение — что так будет всегда, бесконечно, ибо человек ищет в искусстве подтверждение лучшим своим устремлениям и отрицание того, что есть зло, что есть несправедливость, что не отвечает его социальным и нравственным идеалам. Это не обходится без борьбы, без сомнений и надежд. И так, наверно, будет вечно. И потому искусству вечно предстоит рассказывать человеку о сложности и красоте жизни.

Не знаю, как образуется дальнейшая моя творческая судьба, смогу ли я сделать что-нибудь интересное. Поживем, как говорится, увидим...